

Сергей Кузичкин

## СНЫ ПИНОККИО

Из цикла «Восхищение одержимых»

Пиноккио попробовал открыть глаза.

Огни, хлопки, торжественный вой сирены, большой зал и сцена, на которой стоял человек во фраке в окружении людей, говоривших хвалебные речи,— всё пропало. В одно мгновение. Было—и нет.

Влажные липкие веки не хотели разжиматься, и он потёр шершавыми пальцами сначала правый глаз, потом левый. На зрачки упал свет от горевшей на кухне неяркой лампочки. Сознание вернулось, и Пиноккио определил: он лежит на боку на диване в маленькой комнатке своего маленького домика, в брюках, в старом, давно не стиранном свитере с глухим воротником. Лежит на левой руке, затёкшей и онемевшей. Он пошевелил пальцами—от локтя к ладони мурашки забегали под кожей; кряхтя, повернулся на спину. Пружины старого дивана заскрипели. Пиноккио растёр затёкшую руку и заскрипел зубами. Когда под мурашками пробежало тепло, он, опираясь на правую руку, сел. За тёмным незанавешенным окном ветер порывами бился в неплотно закрытую форточку, придерживаемую загнутым расхлябаным гвоздиком, а дождь стрелял по стеклу порциями дробинок и, едва стихнув за окном, убегал на крышу, но быстро возвращался и снова стучал в стекло и переплёты.

Опять этот сон. Аплодисменты...

Дождь колотит, а снится, будто аплодисменты. Да и спал ли он? Был в какой-то полудрёме, только руку отлежал. А может, всё же уснул? Уснул ненадолго, впервые за двое суток. Кольнуло в правом боку, потом заломило поясницу. Пиноккио поёжился, почувствовал, что ему холодно. В доме печь не топилась дня четыре, а может, пять. Пиноккио не помнил дни, он потерял им счёт, потерял к ним интерес. Он помнил, что не так давно начался октябрь, необычно холодный в этом году, то с нудным, весь день льющим дождём, то с каким-то свирепым ветром, то с дождём и ветром одновременно. С усилием поднявшись, сжимая и разжимая пальцы левой руки—продолжая разгонять мурашки, Пиноккио доковылял до кухни, ощущая под пятками через дырявые тонкие носки холодный пол. На столе, среди кусков зачерствевшего хлеба, поломанной полбуханки,

надкусанных солёных огурцов и салных шкурок, он не нашёл ни бутылки, ни стакана. Пустой стакан стоял на холодильнике рядом с будильником. Стрелки часов показывали начало шестого. Пиноккио определил: наступило утро,—и заглянул в небольшую щель между холодильником и столом. Бутылка стояла там. Пиноккио подхватил её за горлышко затёкшей рукой, вытянул на свет. Там оставалось! Сантиметров на пять бутылка была наполнена. Веселея, Пиноккио попробовал вспомнить, почему он запрятал бутылку туда, но с ходу не смог, а напрягаться не стал—откинул пробку на стол, налил в стакан. Стакан взял сначала правой рукой, потом перехватил его левой, уже не чувствуя её затёкшей, сделал глубокий вздох, быстро перекрестился и быстро выпил. Спирт обжёг полость рта и, проваливаясь через горло к желудку, пошёл по пищеводу жгучим ручейком. Пиноккио схватил огрызок огурца, сунул в рот, помог рукой несколько раз сжаться непослушной отвисающей челюсти. Дожевав и проглотив солёненького, он вернулся обратно в комнату. Подойдя к дивану, Пиноккио поправил замусоленную подушку, прилёг, на этот раз на правый бок, подогнув ноги калачиком, накрылся телогрейкой, до того scomканно лежавшей у него в ногах. Через минуту по желудку началось обратное движение. Организм стал отторгать выпитое. Пиноккио сжал зубы, с достоинством переживая внутренние толчки. Наконец в животе заурчало. Спирт прижился и теперь растекался и разлагался на составные его части. Пиноккио почувствовал пробегающую тёплую волну. Ему стало хорошо.

Восьмилетний мальчик шагал по городской улице на своё первое занятие к учительнице музыки и нёс в большой картонной папке ноты. Почему он знал, что мальчику восемь лет? А может, уже девять или даже десять? Он был уверен, что восемь. Девять мальчику должно исполниться в октябре, а сейчас август, он перешёл в третий класс, в июне его записали в музыкальную школу, а перед началом учебного года родители мальчика договорились с учительницей на несколько частных уроков. Накрахмаленный ворот белой рубашки стоял над воротником пиджака, волосы кудряшками

падали на край воротничка, и если бы не школьный костюм, то со стороны мальчик был бы похож на маленького оперного певца или на юного Робертино Лоретти. Мальчика и прозвали Робертино. Ещё в первом классе, когда на первом же уроке пения он звонко спел: «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер...» — учитель пения, отложив баян, сказал: «Ну, ты прямо как Робертино...» — а через неделю уже вся школа — ученики в лицо, а учителя за глаза, — звала мальчика Робертино.

Мальчик подошёл к высокому зданию, с усилием потянул на себя ручку большой тугой двери подъезда. Дверь, сопротивляясь, открылась лишь на несколько сантиметров, и мальчик не вошёл, а протиснулся в приоткрытое пространство.

В детстве этот сон ему снился часто и с подробностями. Улица, по которой шёл мальчик, и двор большого высокого дома, куда он заходил, были ему знакомы — будто он сам не один раз проходил там. Он запомнил людей, шедших навстречу мальчику, помнил вывески магазинов с обеих сторон неширокой улицы, деревья, арку и двор с детской площадкой, песочницу, цветочную клумбу, два легковых автомобиля у подъезда.

Впервые он увидел этот сон, когда ему было восемь лет. Проснувшись, он почувствовал себя тем мальчиком и долго не мог прийти в себя, не понимая, где он и что делает в этом доме, пахнущем невысохшим бельём, висевшим над печкой и прямо над его головой вдоль дивана. Ему захотелось побежать, догнать мальчика с нотами и сказать ему, крикнуть в лицо: «Это я, а не ты, должен идти на урок музыки! Я! Я должен быть на первом уроке!»

— Володька, вставай, я уйду на дойку, покорми поросят, дай зерна курам и в школу собирайся! — привёл его в чувство окрик матери, и он понял, что уже не догонит мальчика с нотами, прозванного Робертино.

В детстве, да и в юности, мать, родные и двоюродные её сёстры, их мужья и их дети звали его Володькой, Володей, Вовкой. Одноклассники — Вованом. Учился Вован плохо. Особенно математика никак не давалась, позже потерялся в предметах по химии и физике. Как и некоторых других, учителя тянули его, оставляли «на осень», но переводили — давая возможность закончить восьмилетку.

Володя-Вован жил с матерью в посёлке, имеющем статус «городского типа» и находившемся в двенадцати километрах от районного центра. Население посёлка наполовину состояло из бывших политических и уголовных заключённых. Сразу после войны вдруг нагнали сюда военных, которые стали на окраине копать и ставить заборы. Не прошло и полугодя, как появилась ниже по течению речки немалая по территории зона

для заключённых и были выстроены солдатская казарма, в принципе тот же барак, и двухэтажный штаб управления, получивший в простонародье название «управа». Новизна встряхнула до того, казалось, дремавший сибирский посёлок, а по сути тогда — деревню, жители которого (или которой) до того трудились на лесоучастке и на ферме, где содержалось небольшое дойное стадо, — второе отделение расположенного в райцентре колхоза. Вместе с зоной образовались свиноферма, лес-промхоз, пилорама, гараж с десятком не виданных раньше здесь автомобилей — лесовозов. С конца сороковых до середины пятидесятых годов пилорама тарактела, не умолкая, днём и ночью, по дорогам посёлка с утра до ночи с рёвом лесовозы везли лес-кругляк. А ещё нередко было слышно на весь посёлок, как взывала над зоной по ночам сирена, лаяли до одури собаки и потом солдаты прочёсывали дома и огороды в поисках сбежавших зеков.

За пять лет до рождения Вована, почти в одночасье, бо́льшая часть осуждённых вдруг получила свободу, зону закрыли, в спешном порядке увозя куда-то не подлежащих амнистии заключённых, бараки переоборудовали под жилые квартиры, а в штаб-«управу» въехал поссовет. После реорганизации посёлок увеличился по площади едва ли не в два раза. В принципе, после того как убрали колючую проволоку и снесли забор, получился новый гражданский посёлок, вошедший в состав уже существующего, записанный в официальных бумагах как Ударник, но в быту продолжаемый именоваться Зоной. Многие из бывших зеков уехали, но немало и осталось жить в той же самой Зоне, в тех же самых перепланированных под квартиры бараках. Поляки, литовцы, латыши, украинцы, белорусы, евреи, поволжские немцы — кого только не было там. На другом конце посёлка целыми улицами жили татары и башкиры, обособившиеся здесь ещё до войны, а то и до революции. Улицы эти так и назывались: Татарская и Башкирская. «У нас тут как в Москве или в Одессе, а может, и того хлеще — разного народишку, — говаривал некто Чугунов по кличке Балабол. — Такая шпана союзная, что окна надо на ставни со стальными заглушками закрывать, не то, пока спать будешь, рамы вынесут — и не услышишь, а к утру уже пропыют — и концы в воду».

Как узнал Вован позже, Чугун-Балабол сам сидел здесь за кражу. Пригнали его по этапу из Пензенской области, откуда он был родом и где научился обворовывать соседей. Отбыв своё, Балабол в родные края не поехал, а оставшись в посёлке, устроился в жилищно-коммунальную контору и много лет руководил звеном ассенизаторов из четырёх человек. После освобождения женился на одинокой женщине с ребёнком, которая родила ему ещё двоих. Один из них — Сашка — стал

приятелем Володи-Вована. Володя не раз видел четвёрку людей с лопатами и мётлами на разных улицах посёлка — вычищающих помойки и туалеты, возглавляемую Чугуном-Балаболом. Люди в звене и машины для вывозки нечистот менялись, но Чугунок был незаменим. Неизменно, будь то зима или лето, он сидел в кабине автомашины рядом с водителем и давал своим подчинённым громкие команды. Бывало, правда, и сам выходил — махал киркой, раздалбливая заледеневшие помои, или бросал мусор большой совковой лопатой, успевая при этом рассуждать о быте, политике и текущем моменте. Володя много раз бывал в доме у Чугуновых, и каждый раз Балабол говорил без умолку, рассказывая жене и детям разные истории, применяя при этом ругательные слова и лагерные выражения. Какие слова были ругательными, мальчишки поняли через некоторое время, немного повзрослев, а тогда, от шести до девяти, они к месту и не к месту применяли выражения, услышанные от Балабола, за что не один раз Володина мать била сына по губам. Порой принародно.

От родных Володя знал, что отец, как и Балабол, отбывал здесь срок, а потом работал на ферме скотником. Там и познакомился с матерью, поселился в домике, где жила ещё и бабушка. Когда Володя родился, отец, рассказывали, затосковал: стал говорить о своей родине — Брянщине, звать мать туда. А потом поехал — вроде бы узнать, что там и как, — и не вернулся. К матери позже сватались несколько кавалеров, даже при Володе приходили, приносили водку и закуску — колбасу, селедку, иногда яблоки и конфеты, но мать больше на уговоры не поддавалась и говорила сёстрам и подругам: «Хватит с меня и одного брянского волка». Так что своего отца Володя не помнил.

В детстве он любил петь. На застольях, которые по праздникам и дням рождения устраивали родственники матери, его в разгар веселья ставили на стул, и он пел. Пел то, что слышал и запоминал с малых лет. В основном — застольные песни, что горланили хором родственники: «Бежал бродяга с Сахалина...», «Шумел камыш, деревья гнулись...», «Ой, мороз, мороз...». Особенно, даже на бис, шёл «Камыш». Захмелевшим мужикам особенно нравилось в его исполнении то место, где были слова: «А поутру они проснулись, кругом помятая трава...» — и его просили повторить. Он повторял. Ему хлопало и, смеясь, говорили матери: «Да он у тебя, Варвара, настоящий артист, отдай его в музыкальную школу». Но мать отмахивалась: «В музыкальную деньги платить надо, а где мне их взять? Алименты на него не получаю, а моей зарплаты на харчи бы хватило да на форму ему школьную».

В музыкальную школу ходила его одноклассница татарочка Венера — Венерка, как её звали дети. Всегда улыбающаяся, с двумя неизменными

косичками, в тёмном школьном платье с белым воротничком, она играла на баяне на утренниках, и несколько раз учитель пения заставлял Володю исполнять пионерские песни под аккомпанемент Венеры. Володя пел до четвёртого класса, а потом перестал, несмотря на уговоры, а затем и угрозы учителя пения.

Пел Володя ещё и потому, что в то время сон про мальчика с нотами по прозвищу Робертино всё чаще и чаще снился ему.

А мальчик пел в хоре. Сначала он стоял во втором ряду на подставочке. Откуда-то снизу грохотала музыка, свет прожекторов словно возвышал сцену, на которой «подковкой» выстроились дети: мальчики в чёрных костюмчиках и с бабочками, девочки в школьных платьицах.

«Сигнальщики-горнисты...» — сливались детские голоса с музыкой. Музыка на минуту затихала, и тогда стоящий в полукружье солист в пионерской форме трубил в горн, а потом снова взрывались музыка и хор.

Мальчику было уже десять, он стоял почти в самом центре «подковки» и с усердием тянул: «Навеки — наша правда, и память — навсегда!»

Сон этот повторялся нечасто, но приходил к Володе под утро не один раз в течение примерно полугодия, и Володя запомнил лица некоторых ребят, трубача, сцену и слова песни. Слова преследовали его днями, не оставляя ни дома, ни в школе. Поскольку учитель пения почти на каждый праздник включал в выступление школьной самодеятельности номер Володи с Венерой, то Володя, набравшись смелости, предложил ему попробовать «Сигнальщиков-горнистов». Учитель пения, называемый всеми учениками Пенником, был на деле хорошим профессиональным музыкантом, тоже из бывших зеков, несколько лет участвовал в лагерной самодеятельности, подбирал музыку к словам поэтов-невольников и имел опыт организации разного рода музыкальных мероприятий, а ещё чутьё на потребность публики, а главное — начальства. Поэтому, смекнув, в чём может быть его выгода, Пенник сразу вцепился в предложение ученика и буквально через пару дней к дуэту Володи и Венеры присоединился горнист. Номер, выданный новым трио на двадцать третье февраля, вызвал всеобщий восторг и был признан лучшим. Эмоции переполнили директора школы, он распорядился наградить почётными грамотами исполнителей и пообещал отправить их на районный слёт пионерских дружин. Награждение намечалось на май, на день рождения пионерской организации, и оно состоялось, только без Володи, неожиданно для всех отказавшегося петь.

Как только не уговаривали юного солиста учитель пения и директор школы, чего только не

обещали и чем только не страшали. Из уст преподавателей Володя узнал много нового о себе и окружающем его мире. И то, что от таланта до подонка можно преобразиться за пятнадцать минут, и что его «бедная и одинокая мать, выбивающаяся из всех сил, чтобы тянуть его, оболтуса», может тут же стать, мягко говоря, «бессовестной женщиной», едва ли не проституткой, и то, что школа собиралась отправить его с Венеркой летом в «Артек», а теперь вопрос стоит о его исключении. Во время уговоров и угроз Володя молчал, опустил глаза. И это молчание доконало директора с Пенником. Продолжающаяся более часа обработка закончилась тем, что по приказу директора Пенник вышвырнул Володю за шиворот из директорского кабинета в коридор, а потом, видимо, войдя в раж, обозлённый, уже без всякого директорского указания, вытащил его во двор школы, завёл за угол и дал ему под зад здорового, до боли, пинкаря.

Из школы его не исключили. Вызвали на педсовет мать: песочили её, довели до слёз. Володя не выходил из дому больше недели, пока не пришла учительница младших классов и не уговорила пойти в школу. На первый же урок заглянул директор; убедившись, что Володя в классе, ничего не сказав, удалился. На уроке пения Володя сидел молча, даже не пробуя, как другие пацаны, имитировать пение, и Пенник, отводя от него взгляд, не сделал в его адрес замечания.

Никто не знал тогда, да, в принципе, и не узнал потом, почему Володя перестал выступать. А дело было в том, что Володя, становясь взрослее, неожиданно для себя сделал вывод: его скромные успехи мешают Робертино. Володе казалось, что он своим стремлением петь отбирает у мальчика силу, ослабляет его талант. Эта мысль так крепко проникла в Володино сознание, что он решил больше не петь.

А мальчик уже стоял отдельно от хора на другой, ещё более светлой сцене, обращённый лицом к огромному залу, и пел: «Что тебе снится, крейсер „Аврора“, в час, когда утро встаёт над Невой?..»

И хотя мальчик был в том же самом тёмном костюмчике и той же бабочке, он казался теперь серьёзнее и увереннее.

«Ветром солёным дышат просторы, молнии крестят мрак грозовой...» — подхватывал хор за мальчиком, а мальчик, казалось, взлетал над залом и летел, летел, летел...

Летел вслед за песней.

Некоторое время Володя просыпался с чувством полёта. Ему казалось, что он вот только что был под облаками. Весь день он, сам не зная чему, радовался. Его даже не огорчали плохие отметки. Когда его вызывали к доске и задавали вопросы, на которые он не знал ответа, Володя молчал и

улыбался. Учителя и одноклассники осторожно смотрели на него, но выводов, видимо, не делали. Да и не каждый день Володя был в состоянии полёта, и не каждый раз молчал у доски — иногда что-то всё-таки отвечал, и ему даже, бывало, ставили четвёрки.

Так вот, с натугой, дошёл Володя до восьмого класса, а там и, с горем и удачей пополам, получил свидетельство об окончании неполной средней школы. Его, Саньку Чугунова и ещё нескольких горе-учеников в школе настойчиво попросили в девятый класс документы не подавать, а идти в открывшееся не так давно в «зоновской» части посёлка ПТУ. По сути, их экзаменовали и выдали им свидетельства с условием. Они и пошли в ПТУ, где было три отделения. Парней учили работать на пилораме и ремонтировать автомашины, а девушек — варить суп и стряпать пирожки. Вместе с Чугунком Володя записался в группу автослесарей.

Два года учёбы в профтехучилище прошли легко и запомнились Володе тем, что спрашивали там меньше, чем в школе. Запомнились обеды, а особенно их послеобеденный зимний футбол, когда они гоняли мяч по заснеженному полю, порой утлая в снегу, не глядя на время, иногда прихватывая практические занятия. Часто игру их заканчивал мастер производственного обучения. Появляясь на стадионе, он сначала негромко, а потом криком призывал своих учеников закончить матч, а когда понимал, что крики бесполезны, выбегал на поле, перехватывая за несколько попыток мяч и загонял неостывших и потных игроков в автомастерскую. Никогда мастер их за это не наказывал и даже не ругал особенно. Так, бранился, улыбаясь.

За два пэтэушных года сны о мальчике редко посещали Володю. Он видел его несколько раз, но не в зале, а в каком-то репетиционном классе, с учителями. Это был уже скорее не мальчик, а юноша. Его уже не дразнили Робертино, а звали Димой, Дмитрием. Дима пел, останавливался и начинал снова. Володя чувствовал его волнение, боялся за его меняющийся голос. Дима жил строго, под постоянным наблюдением педагогов и врачей, ограничивал себя в еде, соблюдал режим и выдерживал. Голос Димы не сломался, а, наоборот, окреп и выплеснулся в баритон. Перед самым уходом в армию Дима приснился Володе исполняющим романсы. Сцена была небольшая. Дима стоял у пианино, на котором играла молодая женщина. «Гори, гори, моя звезда...» — летели слова над умилёнными немногочисленными зрителями, а потом — «Средь шумного бала...», «Очи чёрные», «Вдоль по Питерской...». А вот однажды он спел так, что...

Год после окончания ПТУ, до ухода в армию, Володя работал в автомастерской леспромхоза. Это было, пожалуй, самое романтическое для него

время. Работа слесаря по ремонту автомобилей ему нравилась, нравился и коллектив — опытных и молодых. В принципе, самый молодой был сам Володя, и так получилось, что он один из всей группы выпускников ПТУ работал по специальности. Его друг Сашка Чугунок, проявив неожиданное рвение к учёбе, окончив училище с повышенным разрядом, получил направление в техникум, большинство ребят из его группы, воспользовавшись случаем, по объявлению военкомата пошли на курсы шофёров, а ещё несколько парней, достигших совершеннолетия, осенью ушли в армию. Володе до совершеннолетия оставалось больше года, и он, не ища обходных путей, трудился там, куда его направляли. Как говорил часто встречающийся ему отец Чугунка — Балабол, дело у него было нехитрое: «Крути себе болты и гайки и плюй в потолок». Володя в потолок не плевал, но болты и гайки крутил, а ещё снимал и устанавливал на место двигателя, отдавал на расточку токаря и фрезеровщику валы, сам нередко становился к сверлильному станку. Через год он повысил квалификацию — выдержал экзамен на четвёртый разряд. А ещё за этот год он получил среднее образование. Двухгодичное обучение в профтехучилище полного школьного образования не давало. За первый, теоретический, год и второй, практический, учащиеся проходили курс по облегчённой программе вечерней школы за девятый и десятый классы. Но облегчённая программа была одиннадцатиклассной, и одиннадцатый класс нужно было заканчивать в вечерней школе, или, как её ещё называли, школе рабочей молодёжи, ШРМ. Охотников ходить в ШРМ-«вечёрку» было немного, поэтому преподаватели школы выискивали на предприятиях молодых людей, не имеющих среднего образования и, с помощью личного убеждения и с нажимом на руководство и профсоюзную организацию, заманивали в школьные классы. Володю заманивать было не надо — послушав речь директора школы на профсоюзном собрании, он сам пришёл в школу рабочей молодёжи.

Нельзя сказать, что в «вечёрке» Володя проявлял рвение, но в школу ходить ему хотелось. Возраст учащихся одиннадцатого класса колебался от семнадцати до пятидесяти. Более чем доверительные отношения преподавателей к ученикам выражались в первую очередь тем, что двоек они не ставили, а в случае неответа на поставленный вопрос просили найти время почитать учебники и дать ответ на следующем уроке. И этот педагогический подход приносил свои плоды. Редко кто из учеников «вечёрки» не мог дважды ответить на один и тот же вопрос.

Володя снова оказался в одном классе с музыкантшей Венерой. Венера после восьми классов уезжала в город и полгода училась в культпросветучилище, но что-то там у неё не получилось, и она

вернулась домой, устроилась в вечернюю школу лаборанткой и совмещала работу с учёбой. Не один раз за осень и начало зимы Володя и Венера шли вместе из школы по тёмным улицам посёлка, несколько раз они задерживались возле дома Венеры на Татарской улице и, несмотря на дождливую или прохладную погоду, не расставались ещё часа по два. Один раз дело дошло до поцелуя. Правда, не долгого любовного, а короткого, скорее братского. Володя несмело поцеловал Венеру, а Венера позволила ему это. Оба сделали вывод, что их отношения уже готовы перейти на новый уровень и всё идёт к тому, что...

На другой вечер, провозжая Венеру, Володя готовился не только к новому поцелую, но и признанию в своих чувствах, уверенный в том, что Венера его поймёт и не отвергнет. Однако порыв его был остановлен неожиданно появившимся отцом Венеры — Романом.

Не ответив на приветствие Володи, Роман, сверкнув чёрными, как антрацит, глазами, приказал Венере немедленно идти домой. Три дня её не было ни на работе, ни на уроках. Володя несколько раз проходил мимо её дома, но, как ни старался, ни увидеть её, ни узнать о ней ничего не смог.

Они встретились морозным вечером в середине декабря, и Венера рассказала Володе, что отец её не против лично его — Володи, но она, Венера, едва ли не с рождения обещана в замужество сыну то ли друга, то ли дальнего родственника отца, живущего где-то около Набережных Челнов. Венера ни разу не видела своего суженого, даже на фотографии, хотя про обещания отца слышала с детских лет. Большого значения словам отца она не придавала, но, как оказалось, всё было серьёзно, и дело откладывалось лишь до совершеннолетия Венеры. Восемнадцать ей исполнилось в марте. Ждать весны Роман не стал и вызвал сватов сразу же после того, как понял, что Венера уже взрослая. За ней приехали в канун Нового года и увезли в далёкий татарский посёлок на берегу Камы-реки.

Примерно с месяц Володя тосковал сильно. В первые дни нового года было особенно невмочь — не находил себе места: уходил на лыжах в лес, бродил по посёлку, ездил в райцентр — посмотреть на большую ёлку, стоящую на площади между районным советом и райунивермагом. Хандра не проходила. Ему снилась и слылась Венера, смотревшая на него с укором, словно говорившая ему: «Ну зачем, зачем ты меня отпустил?..» И вот однажды ему снова приснился Дима... Даже, скорее, не он, хотя в этом сне он был главный, а песня... Там были такие слова:

Нет солнца без тебя,  
Нет песни без тебя.  
В мире огромном  
Нет без тебя тепла...

И дальше—поразительно и прямо в сердце:

В целом мире я один,  
Я самим собой судим.  
Я не смог любовь спасти.  
Ты прости меня, прости...

Володя просыпался в слезах и плакал. Плакал тихо, чтобы не слышала мать. Слезы лились ручьём, он не мог их остановить и вытирал, вытирал. Вытирал рукавом, носовым платочком, краем наволочки.

Зов в памяти моей,  
Зов звёздных витражей.  
В сердце осталась  
Музыка давних дней...—

преследовали и преследовали его слова песни.

Окончания зимних каникул он ждал с нетерпением, и встреча с одноклассниками «вечёрки» несколько развеяла его грусть. Почти все мужчины одиннадцатого класса школы рабочей молодёжи были хоккейными болельщиками. Спорили на переменах, говорили о хоккеистах и командах, за которые болели. Самый старший в классе ученик—пятидесятилетний Василий Савич, кладовщик леспромхоза,—предложил споры упорядочить и «поиграть в прогнозы». Для этого он выписал в тетрадку весь календарь чемпионата страны по хоккею, разлиновал около десятка колонок и стал записывать желающих угадать счёт. Сначала в список Савича попали два добровольца, потом ещё четверо, среди которых был Володя, а когда на уроках вполголоса, а чаще шумно на перемене Савич начислял отгадавшим счёт призовые очки, все пустые клеточки в тетрадке кладовщика быстро заполнились. На стихийном собрании прогнозистов было решено: после окончания чемпионата дружно пойти в поселковое кафе и в складчину чествовать победителя конкурса. У Володи появился новый интерес, он переписал у Савича календарь чемпионата, проставил свои прогнозы и по утрам стал слушать «Маяк». Первое время некоторые прогнозы Володи сбывались, и он даже был в числе лидирующей тройки, но уже во второй половине февраля далеко в отрыв по набранным баллам ушёл Савич. Володя к этому относился спокойно, хотя особо яростные болельщики стали подозревать ведущего дневник прогнозистов в махинациях. Впервые публично заявил об этом коচেга поселковой больницы Пётр Михайлович, называемый всеми Михалычем. Михалыч был немногим младше Савича, а потому говорил с ним на равных.— Чё-то ты там, мне кажется, мудришь,— сказал он однажды после того, как были объявлены результаты очередного тура и Савич записал себе несколько призовых баллов.— Что-то очень часто стал отгадывать. Ты там, случайно, стиральной резиночкой, как у себя на складе, не балуешься?

Возмущённый Савич остаток перемены с жаром убеждал всех собравшихся возле него, что он, «в отличие от некоторых, таскающих к себе вёдрами уголь в государственных коচেгах», никогда приписками не занимался и за двенадцать лет его работы кладовщиком «ни одна ревизия не обнаружила ни одного неучтённого им болта или гайки». На уроке Савич молчал, о чём-то думал, а на следующей перемене поставил вопрос ребром:— Или все переписывайте прогнозы в свои тетради и ведите параллельный со мной подсчёт, или освобождайте меня от подсчёта вовсе.

Большинством голосов (восемь против одного Михалыча) Савич был оставлен председателем следующего конкурса прогнозов, хотя несколько человек всё же решили последовать его предложению и поочерёдно на уроках переписали прогнозы себе в тетрадки. Остальные делать этого не стали, смирившись с тем, что Савич лидерство никому не отдаст.

К апрелю Савич действительно далеко оторвался от преследователей и победил в конкурсе. Отметить его победу решили накануне майских выходных, и вечером в пятницу группа прогнози-стов и примкнувших к ним товарищей отправилась в кафе. Событие отмечалось шумно и весело, едва ли не до полуночи. Подвыпивший Савич несколько раз просил развлекающих посетителей музыкантов (двух гитаристов и солиста) спеть им «Трус не играет в хоккей», но те уклонялись, ссылаясь, что не знают ни музыки, ни слов, и пели свои незнакомые учащимся шрм песни. В одной из них были такие слова: «Папа подарил, папа подарил, папа подарил ей куклу». Песня эта исполнялась за вечер несколько раз и откровенно раздражала не только Савича и Михалыча, но и некоторых других, более молодых, посетителей кафе. В конце концов захмелевшие посетители стали выражать своё недовольство свистом. Официанты попробовали возмущавшихся успокоить и даже припугнуть милицией, но те не успокаивались («Не на тех напали, мы свои права знаем и всякую муру слушать не желаем»), требовали директора или администратора. Когда же человек, назвавшийся администратором, к ним подошёл, Савич с Михалычем настояли на прекращении музыки и удалении музыкантов со сцены. Музыкантов, под одобрительные возгласы посетителей кафе, после переговоров удалили, после чего удовлетворённая компания всё-таки хором спела «Трус не играет в хоккей». Чествование Савича и торжества отечественного хоккея затягивалось и продолжалось бы до утра, но в половине двенадцатого официанты объявили: кафе закрывают. Неугомонный Савич предложил взять с собой ещё пару литров водки и продолжить банкет у него дома. Инициатива большинством была одобрена, и шумная компания направилась через весь посёлок на одну

из «зонавских» улиц, к дому Савича. По дороге Савич снова затянул было хоккейную песню, несколько человек её подхватили, но пение шло вяло, слова выкрикивались вразнобой. Видя, что патриотический подъём стал затухать, Савич снова не растерялся и неожиданно для всех закричал: «Папа подарил, папа подарил...» — «Папа подарил ей куклу!» — подхватили в порыве все, включая Володю.

Володя впервые в жизни тогда выпил водки и захмелел тоже впервые. Ему было хорошо в тёплой, своей компании, у него приятно кружилась в голове, и он шёл вдохновлённый и радостный по улицам родного посёлка. Но, несмотря на всеобщую эйфорию, компания по мере продвижения редела. Некоторые из её состава, уже сильно захмелев, отставали от общей группы и сворачивали к своим домам. Заметив это, недалеко от своей улицы остановился и Володя. Подумав, что ему, наверное, для первого раза выпитого хватит, он тоже свернул к дому. Отряд под предводительством Савича, казалось, не заметил потери в своих рядах и шёл дальше, продолжая кричать о том, что «папа подарил ей куклу».

Володя тихонько, чтобы не разбудить мать, открыл двери своим ключом и юркнул к дивану. Уснул он быстро, и всю ночь снились ему кафе, Савич с Михалычем, музыканты и официанты, а в ушах и в голове крутилась песня: «Папа подарил, папа подарил, папа подарил ей куклу...»

Наутро Володя чувствовал себя нехорошо. Его тошнило, кружилась голова, и всё время хотелось пить. Впервые в жизни он выпил и теперь впервые болел, что называется в России, «с похмелья». Впрочем, что такое похмелье и как надо похмеляться, он не знал. Узнал позже и потом не один раз в своей жизни проклинал он тот вечер, когда впервые выпил.

Но это было потом, спустя годы. А тогда, едва его отпустила хворь, он с упоением вспоминал посиделки в кафе, разговоры, песню о хоккее и шумную прогулку по улицам посёлка, и не один раз после этого мечтал он посидеть в такой же весёлой компании. В июне такая возможность представилась. Отмечали окончание школы. В честь такого дня его отпустили с работы. Накануне вручения аттестатов староста класса собрал со всех по три рубля. Володя не знал, зачем собирают деньги, но раз надо, то надо — сдал, не задавая вопросов. Вручение аттестатов проходило в кабинете литературы, а после всех пригласили в самый большой школьный класс — кабинет физики, где уже были накрыты столы. И тогда только Володя понял: будет обмывка аттестатов. Директор школы, завуч, все без исключения преподаватели и выпускники — общим числом застольная компания составляла около полусотни человек. Первый тост говорил директор, второй — завуч, на третий было

намечено слово классному руководителю, но его опередил быстро захмелевший Савич, начавший свою долгую речь с признания в любви школе, директору, всем поимённо учителям. Потом он перешёл на личности выпускников, начав с девушек и женщин, вспомнил своё детство и, наверное, говорил бы так, не смолкая, до заката солнца, если бы его не остановил завуч, тоже любивший поговорить не только на уроках.

Володя много не пил. После второй рюмочки ему вдруг взгрустнулось — вспомнилась Венера. Ведь она тоже могла быть сейчас здесь. Посидев ещё с полчаса, Володя вышел на крыльцо с группой желающих покурить и незаметно ушёл.

Летом он был занят работой, ходил на тренировки местной футбольной команды, играющей в первенстве района, и два раза тренер выпускал его во втором тайме против футболистов райцентра. Голов Володя не забил, но старался, за что получал одобрение опытных футболистов, говоривших ему, что через год-два он станет хорошим игроком.

Ну а в третий раз случилось Володе сидеть в большой компании и пить водку в октябре, когда в армию забирали первую группу призывников из их посёлка. Володя уже знал, что ему назначено на двенадцатое ноября, и готовился: подписывал обходной в конторе леспромхоза. С подписями не торопился — ходил несколько дней — и однажды, возвращаясь из конторы, встретил возле «зонавского» магазина Михалыча.

— Ну, тебя мне сам Бог послал, — сказал, увидев его, обрадованный Михалыч. — Я сына в армию провожаю — завтра уходит, а мне нужно целый ящик водки взять. Ты помоги мне бутылки по сумкам растолкать и до дому донести.

Они растолкали двадцать бутылок «Русской» водки в чистые небольшие сумки и пошли в глубь «зоны», где рядом с трёхэтажными новостройками в своём доме жил Михалыч. Большой каменный дом, с летней кухней и баней во дворе, возводился параллельно с трёхэтажками, скорее всего, из того же кирпича, что и «небоскрёбы», а потому фона не портил, ладно вписываясь в их бело-кирпичное окружение.

Михалыч ещё по пути объяснил Володе: — Повестку Толику только вчера принесли, что, мол, завтра заберут. Я не поверил, поехал в военкомат, говорю: «Почему такая спешка? Других вон за две недели предупреждают, а моего почему-то срочно: ту-ту — и труба звёт. Неужто в спецвойска?» А военком мне: «Может, и заберут его в спецвойска, я не знаю, а пока срочно призываем потому, что заболел один из призывников райцентра, который должен был идти в этой команде. Ваш сын был в резерве, его в команду пока не определяли — хотели в конце ноября, если понадобится, призвать». Ну, срочно так срочно — какая разница когда? Всё равно в армию идти надо, раз

в институт не поступил. Поэтому, Вовка, и срочно водка в таком количестве нужна.

Рыжий Толик, сын Михалыча, был Володин одноклассник, но учился на класс младше. Володя его знал и несколько раз встречался с ним на футбольном поле, когда мальчишки их улицы играли против «зоновских».

В доме столы были накрыты, народ слонялся по двору и сидел на крыльчке. Женщины лузгали семечки, мужики курили. Ждали водку. Собравшихся проводить Толика, по поселковым меркам, было достаточно — около полусотни. Володя встретил некоторых педагогов и учащихся «вечёрки». Был и Савич, приветливо помахавший Володе, когда всех пригласили за стол.

В тот вечер Володя впервые напился до беспмятства. Как это получилось, он не мог потом понять. Помнил, что выпил две-три рюмки «под тост», когда говорили сначала Михалыч: «Служи, сынок, не подводи», — потом Савич: «Давай служи, Толян, как надо, не подводи отца», — а затем и сам призывник. Призывник просил женщин не плакать: «Не на войну иду», — и призвал всех к танцам. Танцевали между стоящими вдоль стенок столами. Володя тоже выходил в круг, потом подошел к Савичу, и они выпили. Потом его потянул к себе Михалыч, и они тоже выпили. После Володя выпивал с призывником и его приятелями, потом с какими-то приехавшими из райцентра девочками. В общем, пришёл в себя он на веранде, лежащим на старом диване. Проснулся оттого, что замёрз. Возле дивана на полу лежали Савич и ещё какой-то мужик. Над дверью горела тусклая лампочка, а из дома доносились голоса. Володе было дурно. Тошнило, кружилась голова. Он поднялся и хотел было выйти во двор, но, перепутав двери, вошёл в дом. За столом сидело несколько человек во главе с Михалычем. Увидев Володю, хозяин, подняв руки над головой, захопал в ладоши и приветливо, даже радостно поманил гостя: — Давай, дорогой, иди сюда. Сейчас мы тебя опохмелим.

Володя замахал в ответ руками, думая откатиться, но не гут-то было. Михалыч поднялся из-за стола, взял его за руку и посадил рядом.

— На, садани полстакана самогоночки, голова на место встанет, — Михалыч налил из бутылки пахнущей до тошноты жидкости, подвинул стакан Володе. — Выпей залпом, не нюхая и не думая ни о чём, — враз полегчает. Годами на себе проверено. — Полегчает, полегчает... — закивали сидящие напротив них мужики.

Привыкший верить старшим, Володя взял стакан и сделал так, как сказал Михалыч, — выпил не думая.

— Ну и молодец, — одобрил Михалыч, глядя на морщившегося Володю и подвигая ему закуску. — На вот огурчики, грибочки, закуси сразу.

Володя почувствовал, как обожгло у него всё внутри, схватил руками маленький огурчик и стал быстро жевать.

— Теперь точно жить будешь, — Михалыч похлопал гостя по плечу. — Минут через десять прими ещё, и обязательно полегчает.

Мужики о чём-то заговорили, а Володя действительно почувствовал облегчение и вторые полстакана выпил уже безбоязненно.

Пил ли он в третий и в четвёртый раз, Володя потом не мог вспомнить. Он снова очнулся на диване, когда уже было светло. Его растолкали. Все уходили провожать призывника. Володю штурмило, рвало. Он отстал за оградой от весело шагнувшей к автостанции компании и пошёл домой. По пути несколько раз останавливался, не в силах сдерживать в себе рвущуюся из него стихию.

Мать была на ферме, и Володя, укрывшись с головой и ногами, лёг на диване. Мать пришла после обеда, посмотрела на сына, покачала головой, а потом принесла ему капустного рассола. Володя выпил и снова укрылся. Сна не было, его постоянно подташнивало, и он то и дело говорил сам себе, что пить больше в жизни никогда не будет. Знать бы ему тогда, что это было лишь начало и та похмельная болезнь его не была такой уж большой бедой. Все беды его придут позже, и все до одной — через начинающуюся вроде бы безобидно весёлую попойку.

Года полтора после этого Володя действительно не пил. Помня похмелье, он воздержался от выпивки на своих проводинах, которые прошли, конечно же, не так размашисто, как у сына Михалыча. Но человек двадцать и у него было. Родственники матери, Михалыч с Савичем, приехавший из техникума Санька Чугунок. Заглянул к ним и Балабол — выпил пару рюмок и говорил до полуночи без умолку. Мать, Санька Чугунок и ещё несколько материных родственников поехали проводить Володю в райцентр, на вокзал, и когда новобранцев посадили в вагон, долго махали ему, пока поезд не отправился. Володя смотрел на них из окна и тоже махал. Он заранее тосковал по всем своим родным и знакомым, по посёлку, по Венере, но всё же уже жил предчувствием перемен и новой надеждой.

Впервые за восемнадцать лет своей жизни он оказался вдали от дома, от матери, от родных, приятелей и знакомых. Перемена пугала своей неизведанностью и радовала возможностью побывать в других краях, посмотреть на новых людей. Володя попал сначала в учебное подразделение, а через полгода, наводчиком орудия средних танков, был направлен в числе других выпускников «учебки» в Забайкалье, на самую границу страны, в недавно созданную там воинскую часть. Нельзя сказать, что всё у него складывалось вдали от дома хорошо и гладко. Были трудности, связанные



с переменной образа жизни. Особенно первые дни и даже месяцы. Но ничего, вытерпел, втянулся. В новой воинской части по сравнению с учебной было меньше муштры и разного рода построений, но зато больше выходов в караул, нарядов по кухне, выездов на учебный полигон. Выезд на полигон считался праздником для солдат и сержантов. Особенно когда дело не было связано со стрельбами. Полигон расширялся—строились новые командные пункты, копались траншеи. Как правило, с апреля по октябрь на полигоне постоянно жили в палатках по двадцать военнослужащих срочной службы и один офицер. Работа продвигалась медленно—не хватало то кирпича, то цемента, и многие дни солдаты занимались лишь тем, что играли в футбол, готовили завтраки, обеды и ужины, ходили по ягоды, за грибами и едва ли не каждый день топили баню, парясь до одурения. На втором году службы Володя практически не выезжал с полигона. Работал на прокладке кабеля и установке подъёмников для мишеней. Вместе с приятелем по учебной части, никогда не унывающим татариним Юркой Мадзагировым, они, бывало, оставались на полигоне вдвоём, когда «полигонщиков» по каким-либо причинам вывозили в часть. Общаясь с приятелем, Володя отмечал про себя некую похожесть в поведении Юры и Венеры, невольно вспоминал Венеру, думал: как она там, в Татарстане? Воспоминания наводили грусть, и Володя, когда было неважно, уединялся. Бродил по окрестным сопкам и околкам или читал книги. Конечно же, странности его не могли остаться незамеченными, и однажды, глядя на тоскующего приятеля, Юрка к обеду достал из своего тайника бутылку «Русской» водки. Они выпили, закусили тушёной говядиной из банки, поговорили о футболе, кино, вспоминая фрагменты шукшинских фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная», громко смеялись. Захмелели они быстро, бодрости и веселья добавилось, но быстро и поняли: одной бутылки им маловато. Юрка снова полез в свою заначку, сообщив, что припасал ко дню рождения—к двадцатилетию, но «раз пошла такая пьянка»...

В ту ночь Володя во сне снова видел Диму-Робертино. Впервые за время службы. Возмужавший Дима пел в небольшом заведении—скорее всего, кафе или ресторане:

Лети, мой конь, лети  
За синие моря,  
Пока хватает сил,  
Пока горит заря.

Дима был одет в простенький клетчатый пиджачок, из-под которого торчал ворот бордовой рубашки без галстука. Две девушки в коротких платьицах стояли чуть поодаль и подхватывали:

Лети, мой вороной,  
За облачную даль.  
За дальней стороной  
Живёт моя печаль.

Вид у Димы был весёлый, но Володя почувствовал, что его что-то тревожит, что переживает он не лучшие свои времена.

Дима пел радостно и улыбался. Весело играли музыканты, веселилась публика и хлопала в ладоши.

А потом...

Потом Володя увидел серьёзного человека, грозно отчитывающего Диму и говорившего, среди других слов, такие: «Талант загубить просто, сохранить—нелегко... Подумай об этом...»

Дима соглашался, кивал, а потом снова пел, и снова—в том же заведении:

Оседлаю вороного поутру...  
Напослед пройду по отчему двору.  
Не печалься, мать, о сыне,  
Если сгину на чужбине.  
Бог не выдаст,  
Так и я не пропаду...

Володя проснулся. В палатке было уже светло, но песня не кончалась.

А пока носи меня, мой вороной,  
По туманам над высокою травой,  
Над горами, облаками,  
Сколько мы с тобой искали.  
Выручай в последний раз меня, родной.

Песня вырывалась из Юркиного транзистора. Пел Муслим Магомаев.

Лети, мой вороной,  
За облачную даль.  
За дальней стороной  
Живёт моя печаль.

Юрка же стоял у входа палатки. Гудела разожжённая печурка, сотворённая умельцами из толстой стальной трубы, поставленной на землю «на попа», на приваренный к ней стальной прямоугольник. Подождённая солярка, наливаемая в печурку через отверстие-воронку, накаляла трубу до красноты от воронки почти до середины. Ярко-красной труба была особенно в том месте, где были проделаны по кругу несколько отверстий, через которые поступал воздух. Этот придуманный кем-то способ обогрева был прозван военными «Поларисом», в честь американской ракеты. Видимо, начинённая горячей соляркой печка-труба гудела так же, как ракета при запуске.

— Дождик, падла, закапал,—увидев, что Володя проснулся, сказал Юрка.— Чё делать-то будем? Сегодня воскресенье. Наши только завтра к обеду,

не раньше, из части доберутся. Может, мне в деревню сходить, продать тушёнку да ещё водки взять?

Володя не возражал. Юрка накинул плащ-палатку, уложил в вещмешок с десятком банок тушёной говядины и отправился в поход за двенадцать километров, в небольшое село с популярным в России названием — Солонечное.

Володю немного мутило от вчерашней выпивки, а потому он, умывшись и добавив в «Поларис» солярки, снова прилёт на нары. Транзистор был включён. Шёл концерт по просьбам трудящихся. Снова объявили песню в исполнении Муслима Магомаева. «Элегия», — объявил диктор, и вдруг...

Нет солнца без тебя,  
Нет песни без тебя.  
В мире огромном  
Нет без тебя тепла... —

вырвалось из эфира и понеслось по палатке, встрепенув память, заставив сбиться с ритма сердце и разбудить чувства.

Промокший Юрка пришёл часа через три. Принёс две бутылки водки, помидоров, огурцов, редиски.

— Мне дедок один прямо с грядки огурцы и редиску дал, — пояснил приятель. — Я к нему к первому подошёл: смотрю, мужик в огороде под дождём что-то ковыряется — я к нему. Показал тушёнку, он торговаться не стал — согласился на литруху, овощей дал, а ещё его бабка меня окрошкой угостила. Хорошая, холодненькая такая. На квасе. — А что с собой не принёс? — попробовал улыбнулся Володя.

— Да не во что налить было! — продолжив шутку товарища, сверкнул глазами довольный Юрка.

После первой стало теплее. После второй ударились в воспоминания о жизни на гражданке. Причистившись к стакану в третий раз, Володя разоткровенничался и рассказал приятелю о своей несостоявшейся любви.

— Да-а! — выпив и закусывая огурчиком, произнёс Юрка, выслушав рассказ о Венере. — Мы, татары, люди злые — у нас ножики большие. Это так мой дед говорил, когда пошутить хотел. У нас в семье никто не настаивает, чтобы женились на своих девчонках, но есть, знаю, такие, кто только на своих. Этот Роман, видать, тоже из них.

Юрка налил ещё по одной.

— А я рад, что никого себе до армии не завёл, — сказал он. — Думай о них ещё. А как кого встретит и вильнёт хвостом? Тут и в жизни разочароваться можно. Правда? Ты же почти разочаровался?

— В любви, а не в жизни, — уточнил захмелевший уже Володя.

Открывая вторую бутылку, они перешли на анекдоты и шутки. Первым полез отдохнуть на топчан Юрка, а Володя пару раз подливал ещё солярки в «Поларис», а потом тоже прилёт.

Заснули они крепко и не слышали: как кончился дождь, как перестала гудеть труба в потухшем «Поларисе», как подъехал к палатке ГАЗ-66.

Не разбудил, а растолкал их и привёл в чувство командир роты, приехавший с несколькими солдатами ближе к вечеру. Как понял приходящий в сознание Володя, ротный приехал оценить готовность полигона к предстоящим стрельбам и был сильно удивлён, увидев водку, закуску и спящих нетрезвых солдат. Рассвирепевший старший лейтенант, быстро дав распоряжения остающимся на полигоне бойцам, приказал провинившимся приятелям собрать вещи и следовать к машине. — Вы у меня больше полигона не увидите! — кричал он. — До конца службы будете дневальными по роте. Днём и ночью к тумбочке дневальными стоять будете! Про знаки «Отличник боевой и политической подготовки» забудьте, и звания сержантов перед дембелем вам не видать.

Сержантов приятели действительно не получили и первую неделю после прибытия в роту были бессменными дневальными. Но потом ротный остыл и под конец службы выдал им знаки отличников. Казалось, он забыл о проступке своих солдат, но это только Володе казалось. В этом он убедился, когда на полк пришла разрядка из Москвы. Набирали добровольцев — увольняющихся в запас воинов — на строительство Олимпийской деревни. Страна ждала Олимпиаду, а строителям обещали после окончания игр жильё и московскую прописку. Володин знакомый, можно сказать — тоже приятель, писарь из штаба, вписал было его в список претендентов, но когда дело дошло до командира роты, фамилию Володи вычеркнули. И вместо столицы отправился он после увольнения в родной посёлок.

А возвращаться не очень хотелось. Да, он скучал по матери, по двоюродным братьям и сёстрам, по посёлку, но осознание того, что больших перемен, на которые он надеялся, не случилось и снова придётся вернуться в маленький материн домишко, в автомастерскую леспромхоза, к привычной доармейской жизни, тяготило. Он предчувствовал: если вернётся домой, в родной посёлок, то не вырвется из него до конца жизни.

Перед увольнением в запас, примерно за неделю до отъезда из части, Володе снова приснился сон про певца Диму.

Дима пел в опере. Огромная сцена большого города расстилалась перед ним; вокруг сновали актёры в дорогих костюмах, играя свои роли; громадный, полный зрителей зал то замирал, то взрывался аплодисментами. Дима пел на иностранном языке, наверное итальянском, и город, в котором он пел, был, скорее всего, итальянским. Володя видел близко лицо Димы — довольное, со скрытой улыбкой, и его глаза — сияющие и восторженные.

Володя был рад за него, и даже мысль, крутившаяся в это время в голове, подталкивающая к зависти, не омрачала радости.

«А ведь это мог быть ты, мог быть на этой сцене, и все эти восторги и всплески могли быть для тебя... Ты же нисколько не хуже его! Ты мог петь ещё лучше, чем он, но ты спрятал, зарыл свой талант, и теперь его не выкопать! Время ушло! Ушло от тебя к нему. Тебе никогда не достичь успеха! Никогда и ни в чём...» — внушал ему, говорил на ухо, наращивая и наращивая тон, потусторонний голос, но Володя заглушал его улыбкой и победил. Голос умолк, а Володя проснулся счастливым и гордым, довольным, будто не приснившийся ему певец Дима, а он сам только что пел на самой престижной оперной сцене мира.

Задумывался ли он в те годы: почему сон про одного и того же человека снится ему постоянно и не хочет отпускать? Скорее, не задумывался. Удивлялся, бывало, от неожиданности приснившегося, думал о мальчике, а потом о юноше и молодом человеке всегда легко и с удовольствием и иногда, бывало, ждал и хотел, чтобы Дима снова приснился ему, а он ещё раз порадовался бы его новым успехам. И он каждый раз радовался, когда это случалось, и каждый раз кто-то невидимый внушал ему, что Дима занимает его место, что все успехи юного артиста только оттого, что он, Володя, отказался тогда петь в школе...

Внушение и самого внушителя из мира снов Володя тоже воспринимал с улыбкой, считая успехи Димы ненастоящими, сонно-сказочными, но хотел, чтобы сны-сказки не кончались.

И они продолжалась. Время от времени он видел в своих снах уже взрослого человека, опытного певца, исполняющего арии из опер или популярные песни на концертах. Чаще слушал, не вдаваясь в смысл, ловил восторженный миг происходящего, и чувства переполняли его. Бывало, он просыпался с заплаканными глазами, но лёгким сердцем, бывало — возбуждённым и готовым творить хорошие дела всем без исключения людям Земли. Но иногда, как в детстве, он запоминал слова из арий и песен, а потом, услышав их по телевизору или радио в исполнении известных артистов, переживал двойственное чувство. Восторженная душа его хотела воспринимать только Димин голос, только его исполнение.

И иногда, подвыпив, он возмущался и кричал в экран телевизора: — Вам что, других песен мало? Что вы парню дорогу переходите?

С годами, сначала вроде бы ровно идущими, а потом словно побежавшими вперёд и мало что меняющимися в его жизни, пить стал он чаще. Ещё более зачастил, когда началась в стране перестройка, а после смерти матери уже и не представлял свою жизнь без выпивки.

Пиноккио встрепенулся. Короткая дрёма вновь отступила.

Возгласы «браво», завалы цветов на сцене, огни юпитеров — всё снова растворилось в неярком свете бьющей из кухни лампочки. Пропавшие видения были настолько яркими, что казались реальными, такими же, как комната, диван, неяркий свет. Пиноккио не сомневался: это он стоял сейчас на сцене, и цветы, и возгласы, и всё, что ни происходило там, было для него. Только для него и ради него.

Пиноккио повернулся на спину, подтянул телогрейку ближе к подбородку, стараясь согреться.

«Раздвоение...» — мелькнула не пугающая его мысль.

«У тебя раздвоение личности... — так сказала ему Венера, когда он признался ей, что видит сны про оперного певца. — Тебя психологу бы показать хорошему. Не нашим, наши точно в психушку упекут...»

«Так это я от Венерки вчера бутылку спрятал... — вспомнил Пиноккио. — Она же вчера заходила... Хлеба принесла, крупы гречневой, сала... Да, ещё денег немного дала из моей пенсии!»

Мысль о нерастраченных ещё деньгах согрела озябшего было Пиноккио, и он, отбросив телогрейку, шустро соскочив с дивана, кинулся на кухню, к вешалке, к старой замусоленной курточке, сунул руку во внутренний карман.

«А! Есть! — рука нащупала несколько бумажных купюр, немедленно извлечённых на свет. — Молодец, Венерка! Венерочка!»

Венерка-Венерочка встретила его через шестнадцать лет после их прощального вечера. Она вернулась в родные места из Набережных Челнов с двумя детьми, похоронив мужа. Он встретил её в «зоновском» магазине и — сильно изменившуюся — едва узнал. Из весёлой, улыбающейся девчонки Венера выросла в статную серьёзную даму. Работала она в районном центре, в службе социального обеспечения, и в то время организовывала филиал службы в их посёлке. И она едва признала в небритом, небрежно одетом человеке его. Он, тогда ещё Володя-Вован, уже был без работы и уже пил безостановочно, при любой возможности. Напивался до потери сознания, спал под забором. Его дважды по статье увольняли из автомастерской, и он, чтобы как-то прожить, а главное — выпить, продал, обменял на спирт немногие материны золотые украшения, старинный комод и ещё кое-что по мелочам отдал за выпивку спиртоотторговкам. А ещё он, не брезгуя ничем и не стесняясь никого, нанимался на работу за бутылку, а то и за стакан спиртосодержащей жидкости и даже, бывало, ходил по домам торгашек, клянча выпивку в долг.

Однажды, зайдя по старой памяти в автомастерскую, неожиданно наткнулся на небольшой

«сабантуй» по случаю дня рождения старшего мастера Виктора Петровича. Петрович был лет на пять старше его и работал в мастерской всю свою жизнь. Не один раз по молодости бывал Володя-Вован и у него дома, и приглашался даже в былые годы на дни рождения мастера, а потому, увидев накрытый стол, загорелся, надеясь, что по старой памяти ему здесь нальют. И действительно, Петрович ему налил. И действительно—по старой памяти. Выпив, он сказал хорошие слова в адрес именинника. Именинник расчувствовался: «Спасибо, Володя!»—и налил ему ещё. Он выпил ещё, но уходить не торопился, надеясь на добавку. А компания уже не обращала на него внимания. Все с интересом слушали молодого, успешного сына Петровича, открывшего недавно в райцентре автомастерскую, уже принёсшую прибыль. Как понял Володя-Вован, сынок и был организатором стола в честь дня рождения отца. Начинаящего успешную карьеру предпринимателя Вован знал ещё малышом, а потому, не стесняясь, перебил организатора застолья:

— А ещё можно выпить?

Молодой, но уже привыкший к уважению владелец автомастерской недовольно посмотрел на незваного гостя и сказал так, как говорил бы совершенно незнакомому человеку:

— Слушай, мужик, по-моему, тебе уже пора. Пить, как я погляжу, тебе вредно. У тебя от постоянного запоя рожа скукожилась, а нос как у Буратино торчит. Ты давай двигай на малых оборотах в сторону дома да прописишь хорошенько.

Сказав это под одобрительные ухмылки участников застолья, сын старшего мастера продолжил было рассказ о своём предприятии, как был снова прерван.

— Налейте, и я сразу уйду,—сказал настойчиво и громко Володя-Вован, выводя владельца мастерской из себя.

— Ты что, мужик, борзеешь?—вскричал организатор застолья, подбегая к обнаглевшему, на его взгляд, человеку.—Сказано тебе—иди, значит, отваливай!

Молодой и здоровый сын старшего мастера, схватив за плечи, развернул обнаглевшего незваного гостя, слегка подтолкнул его к выходу и с силой дал ему пинка.

— Вали отсюда, Пиноккио!—крикнул он, и все до одного собравшиеся в мастерской вокруг богато уставленного выпивкой и закуской стола, кто веселясь, а кто сострадав, в один миг поняли, что «пинок» и «Пиноккио»—в данном случае однокоренные слова.

В голове оскорблённого неожиданным действием всё закружилось и завертелось, перед глазами замелькали события прожитого, всплыло лицо учителя пения—такое же разъярённое, и пинкарь, полученный от педагога за углом школы

много-много лет назад, снова настиг и обжёг его память. Нет, не этот пинок молодого подонка, а именно тот—пожилого подлеца, бывшего зека, после которого он, Володя-Вован, похоронил свой талант или, в худшем случае, свои способности,—всплыл в его сознании горькой обидою, привёл в негодование, и он вдруг понял, что не будь в его жизни того зековско-учительского пинкаря, не было через много лет бы и пинка этого—глупо-предпринимательского.

А разъярённого молодого сына, рвущегося было добавить позорно изгоняемому, укротил всегда бывший и оставшийся сердобольным Петрович. Он налил полстакана водки, догнал уходящего Вована, заставил выпить, а затем проводил за ограду мастерской.

Весь вечер и всю ночь Володя-Вован не мог успокоиться. И хотя выклянчил у соседки ещё полбутылки спирта, хмель не брал его. Вспоминались прожитые годы и такой длинный-короткий период—от пинкаря до пинкаря. И спрашивал он то ли себя, то ли судьбу: почему и зачем так у него в жизни? И тогда впервые, ещё издали и туманно, не веря в это сам, он подумал о том, что все беды его идут от настойчиво продолжающихся снов про оперного певца Диму. Дмитрия. Это из-за них и из-за него, солиста Димы-Дмитрия, он перестал петь в школе и всё у него пошло наперекосяк. Ни в армии, когда набирали строителей Олимпийской деревни, ни потом, когда армейский приятель Юрка звал его с собой—наняться матросом в торговый флот, он не мог поменять своей судьбы. Всё время находились причины, не отпускающие, не позволяющие ему сделать перемены. Когда собрался на флот, сильно заболела мать. А потом, когда тот же Юрка познакомил его со своей двоюродной сестрой—симпатичной Катей, показалось: наконец-то жизнь начинает меняться...

Катя жила в райцентре, заканчивала торговое училище. Они подружились и дружили несколько месяцев, до наступления Нового года. Володя несколько раз приглашал её к себе домой и даже познакомил с матерью. Новый год они решили встретить у Кати, и Володя поехал в райцентр. Юрка как раз был на побывке и всячески содействовал укреплению его дружбы с сестрой. Правда, до того как пойти к сестре, однополчане сняли пробу с Юркиного самогона-первача у его домашней ёлочки, потом выпили по рюмке водки с весёлой компанией возле ёлки поселковой, потом у ёлки в Доме культуры, и уж после того Юрка доставил приятеля на Катин новогодний огонёк. Естественно, приятель был уже неспособен на взаимопонимание, не помнил, как встретил Новый год, а утром, проснувшись на диване в незнакомом доме, был сильно удивлён, увидев заплаканную Катю, не желавшую с ним даже разговаривать. Что произошло между ними, какой

разговор, как ни старался, не вспомнил он ни тогда, ни потом, и на этом отношения молодых людей, по сути и не начавшиеся, закончились.

Больше попыток заводить серьёзные знакомства с девушками Володя не делал. Не стремился делать. И не потому, что решил прожить холостяком. Никаких зарокон он себе не давал, а не случались отношения его с женщинами потому, что им не оставалось места в Володиной жизни. Он стал всё чаще и чаще, по поводу и без повода, пить водку, вино, самогонку, а потом и спирт. Вначале, правда, только по поводу. В той же автомастерской, куда вернулся после армии и где его с радостью приняли, время от времени перепадала неплановая работа—ремонт автомобилей частников. Так называемый калым. Начальство смотрело на такой приработок своих подчинённых спокойно. Более того, и заведующий мастерской, и даже сам директор леспромхоза нередко отправляли клиентов в автомастерскую. Естественно, каждая такая работа заканчивалась небольшим застольем. Тот же Петрович, будущий мастер, бывало, находил желающих отремонтировать «жигулёнка» или «москвичок» и сам брался за газосварку.

Выпивки учащались и с каждым разом давались Володе тяжелее. Если Петрович и другие работники мастерской после удачно отмеченного калыма приходили на другой день на работу как ни в чём не бывало, то он мучился похмельным синдромом. Болел. Вначале его понимали, даже сочувствовали, но попытки отказываться от застолья вызывали веселье и шутки товарищей по работе. «Пей тут, с собой не дадим!»—говорил тот же Петрович под общий хохот. Сезона три после увольнения из армии Володя играл за местную футбольную команду. Ходил на тренировки. Но и там сначала—после несчастных побед поселковых футболистов над районцентровскими—дело заканчивалось коллективной выпивкой, потом выпивка стала организовываться и после поражений команды, а затем и вовсе после тренировок. Первые серьёзные проблемы со здоровьем появились годам к двадцати пяти—боли в желудке, тяжесть в печени.

Начавшаяся в стране перестройка и борьба с пьянством подвигли его, как и многих любителей спиртного, находить новые способы добычи алкоголя. В ход шли аптечные настойки и бытовая химия—стеклоочистители, технический спирт. Алкогольная зависимость возрастала, болезни подступали. На третьем году перестройки неожиданно умер Санька Чугунок. Санька работал мастером в профтехучилище, был уважаемым человеком, нередко угощал друга детства водкой и так же нередко удерживал его от выпивки. Умер Чугунок как-то нелепо: пришёл домой, поужинал, лёг на диван и больше не встал. Остановилось сердце. Примерно за год до смерти Саньки так же неожиданно остановилось сердце его матери,

а года два спустя после смерти младшего сына умер и Балабол. На том же самом диване, что и Санька. В начале девяностых, после долгой болезни, оставив сыну маленький домик и всё, что она скопила за годы жизни, ушла в лучший мир и мать Володи. Тётки и дядьки, а также оставшиеся здесь двоюродные сёстры после похорон ещё дальше отодвинулись и почти не общались с ним. Да и он к ним старался без нужды не ходить.

Вылетев с работы в первый раз, а потом и во второй, в поисках выпивки Володя-Вован обхаживал посёлок. Поначалу ему сочувствовали и наливали старые знакомые—постаревшие Савич и Михалыч. Но меняющаяся в стране обстановка влияла на жизнь людей, на их отношения друг к другу и на здоровье. Савич сильно болел, Михалыч был покрепче, но уже не всегда радостно открывал ворота своего дома перед одноклассником по вечерней школе.

В это вот время и встретила его снова Венера и попыталась повлиять на его судьбу. И он, вначале обрадованный встречей с ней, ожил было, попробовал переменить образ жизни, но не смог. Венера оказалась более настойчивой. Она опекала его, помогала во всём, поставила на учёт по безработице, выбила ему денежное пособие. Но личные отношения их не складывались—очень уж стали они разными за время, проведённое вдали друг от друга. Поняв наконец, что совместной жизни у них не получится, Венера всё-таки не оставила его, опеку и постоянные визиты к нему не прекратила. Она возилась с ним, как с ребёнком: носила продукты, получала его пенсию и выдавала ему частями.

А в тот вечер после обжигающего душу пинка, полученного в своей родной автомастерской, и бессонной ночью, следовавшей за ним, он окончательно понял, что ему уже не подняться и ничего не изменить. Под утро смирился с этим и уже соображал, где сегодня найти на выпивку.

А наступившее после осознания утро и последующий день уже приготовили ему другое имя. Инцидент в автомастерской получил огласку, и слово «Пиноккио», брошенное молодым бизнесменом, вначале как бы невзначай прицепилось к Вовану, а затем приросло, прижилось и вытеснило и его имя, и даже фамилию. Не прошло и двух недель, как весь посёлок, от великовозрастных до малолетних жителей, стал звать его Пиноккио.

Пиноккио отложил деньги, предназначенные на спирт, сунул их в карман куртки, надел её, засунул, кряхтя, ноги в непросушенные сапоги и, накинув капюшон на голову, вышел на крыльцо. Мелкий дождь сыпал с неба сплошной стеной, казалось, мешая наступить рассвету, но свет проступал сквозь водную стену и, касаясь земли, делал воздух прозрачным, а предметы видимыми. Пиноккио

осторожно спустился по мокрым некрашеным ступенькам крыльца и направился к воротам. Из будки бросился было к нему дворовый пёс по кличке Кирилл—Киря, как звал его Пиноккио,—попрыгал на задних лапах, стараясь грязными передними обнять хозяина. Хозяин от объятий пса отбился и спросил:

— Ну, ты со мной?

Пёс глянул исподлобья на человека, вильнул хвостом и пошёл обратно в будку.

— Не по пути, значит,—сделал вывод Пиноккио, открывая скрипучие ворота.

Путь его лежал почти в самый конец улицы, где жила круглосуточно торгующая спиртом пожилая, но моложавая на вид женщина, известная среди алкашей, милиционеров и борцов со спиртопродажей как Колесуха.

Пиноккио шёл по краю дороги, стараясь обходить лужи, в который раз подмечая, что ступни его ног непроизвольно выворачиваются в стороны и походка его похожа на чаплинскую из немого кино. Походка эта выработалась у него как-то сама собой. Впрочем, и сутулость появилась тоже не по его желанию. Не знаящие Пиноккио и встретившие его впервые навряд ли могли поверить, что этому постаревшему на вид человеку нет ещё и пятидесяти, а то, что когда-то он был стройным юношей, лихо гонявшим мяч на поселковом стадионе, не верилось уже и знающим его многие годы людям.

Дом Колесухи—по правой стороне, мимо никак не пройти: большие железные зелёные ворота, а на них жёлтые петухи с красными гребнями. Пиноккио настойчиво постучал. За оградой сначала лениво залаяла собака, потом, было слышно, скрипнула дверь.

— Сейчас, иду!—крикнули с крыльца.

Дождь не переставал, шёл монотонно—не усиливаясь и не затихая. Пиноккио поёжился, сжал в карманах руки в кулаки.

Колесуха, в лёгкой ветровке и с зонтиком в руке, вышла к нему минут через десять.

— Чё стучишь-то?—спросила она без злобы в голосе.—Звонок есть—вон, справа: позвони, и выйду. Для кого я его поставила?

— Извините, не заметил...—оправдался Пиноккио, глядя на не потерявшую красоту дородную женщину с блеском в глазах.

«Наверное, от хорошего питания она остаётся вот уж несколько лет такой»,—подумал он.

— Да чё вы замечаете?—махнула Колесуха и улыбнулась своей неотразимой улыбкой на красном полном лице, спросив уже по делу:—Сколько тебе?—Пол-литра неразведённого...—ответил он, протягивая деньги.

— Да у меня разведённого не бывает,—снова без обиды в голосе возмутилась было спиртоторговка.—Это вас бабка Нюрка к разведённому

приучила, а у меня товар прямо с завода медицинских препаратов, качественный. С одной поллитры больше литра сорокоградусной получается. Не боишься от такой дозы очокуриться? А то стоишь тут, как труп ходячий... Совсем дошёл... В чём душа-то ещё держится?

— Да держится ещё... Не очокурюсь...—крякнув, сказал Пиноккио.

— Смотри, а то опять по участковым меня таскать начнут. А я виновата? Я чистым торгую, а вы где-то суррогаты по дешёвке берёте, а потом ласты заворачиваете...

Колесуха взяла деньги, пересчитала, спрятала в карман.

— Ладно, жди... Щас вынесу...

На обратном пути Пиноккио ещё тщательнее выбирал дорогу, обходил лужи и грязь, неся за пазухой, во внутреннем кармане, драгоценную бутылку. Улица была пустынна. Владельцы крупнорогатого скота сезон выпаса уже закончили и коров больше по утрам не выгоняли, а переживающий тяжёлые времена леспромхоз работал время от времени, и потому не сновали теперь день и ночь по улицам лесовозы, не месили грязь, и не ревели на весь посёлок пилорама.

Недалеко от перекрёстка с центральной улицей Пиноккио заметил человека в брезентовом плаще, с маленьким чемоданчиком в руке, и узнал в нём бывшего ветеринарного врача.

— Дмитрий Васильич, ты откуда так рано?

— Привет, Володя!—узнав его, обрадовался ветврач, второй и последний после Венеры человек в посёлке, ещё звавший Пиноккио по имени.—Да был тут у одних—корову смотрел, заболела. А ты куда торопишься?

— Да затарился бутылочкой. Не хочешь согреться?—Можно было бы, да, боюсь, жена ворчать начнёт... С утра, мол, пьёте...—замаялся Васильич.

— А мы ко мне пойдём. Правда, у меня с закуской напряжёнка...

Дмитрий Васильевич ненадолго задумался.

— Ну как?—подтолкнул его мысли Пиноккио.

— Давай так: ты иди, а я сейчас посмотрю в холодильнике на веранде, прихвачу что поесть и приду.

— Хорошо. Буду ждать...

Прибывав домой, Пиноккио, не снимая куртки, раскупорил бутылку, налил чуть меньше полстакана, разбавил до полного водой из чайника и, по привычке осенив себя крестом, выпил залпом.

Жгучий напиток, проникая в организм, перекосил ему лицо. Голова Пиноккио прижалась к плечам, руки—к груди, а бедный желудок снова начал защищаться. С минуту Пиноккио стоял неподвижно, потом, разжав руки, схватил со стола недоеденный огурец, сунул в рот и прямо в сапогах прошёл в комнату, сел на диван.

«Не обманывает Колесуха. Зверский напиток. А если не разбавляя выпить — точно окочуришься».

Посидев немного, он почувствовал знакомую удовольствие от примирения спирта с желудком и хотел было взяться за растопку печки, но за дровами нужно было идти в сарай, и он решил подождать Васильича.

Васильич пришёл через полчаса. Пёс Кирия пропустил его без лая, узнав в нём уже бывавшего здесь гостя. Дмитрий Васильевич был добродушным человеком, каких Пиноккио знал в своей жизни немного. Несколько лет он работал главным ветеринарным врачом района, потом — то ли из-за мягкости характера, то ли по каким-то другим причинам, — его понизили в должности и отправили к ним в ветучасток. С середины восьмидесятых Васильич жил в посёлке. Добродушный, отзывчивый, а главное — отличный ветврач, он сразу же был признан и на ферме, и в личных подворьях. По первой просьбе он приходил посмотреть на больных животных. При осмотре разговаривал с ними ласково, поглаживал по спинке и брюшку, если надо — ставил уколы и давал дельные советы по уходу хозяевам. Несколько раз по приглашению матери был Васильич и в их доме — лечил корову, приносил лекарства. Уже после смерти матери Пиноккио водил на приём в ветучасток заболевшую чумкой собаку Найду, давшую впоследствии среди потомства и пса Кирию. Как-то, встретив у магазина, пригласил Пиноккио Васильича к себе на рюмочку. Тот не отказался, а потом заходил ещё пару раз. А было дело, Пиноккио ходил к ветврачу — занять на бутылку. Когда ветучасток в посёлке закрыли, Дмитрий Васильевич лишился должности, но не профессии. Доктор по званию, он не мог усидеть без дела — лечил по подворьям коров, баранов, свиней, лошадей и даже курей с гусями.

— Да тебе, я вижу, не только закуску — дров надо было охалку захватить, — сказал, доставая из матерчатой сумочки на стол домашнюю колбасу, хлеб, тушёнку, ветврач.

— Да есть дрова, Васильич, принести надо из сарая охалку берёзовых... — отозвался Пиноккио.

— А раз есть — неси. Не то, друг мой, мы с тобой околеем тут — раз, и заболеем — два.

Пиноккио, кряхтя, поднялся. Его немного качнуло, в голове приятно кружилось — спирт уже начал своё действие.

Пока Пиноккио ходил за дровами, ветврач нагрёб из поддувала полведра золы, почистил и в печи.

— Этого мало будет, — определил Васильич, когда Пиноккио бросил возле печи несколько поленьев. — Надо протопить как следует. Сходи ещё разок, а я растопить попробую.

Выходя во второй раз за дровами, Пиноккио прихватил кусок зачерствевшего хлеба, сальные

шкурки и отдал их прыгающему возле него псу Кириллу. Когда он принёс дрова снова, Васильич уже поджигал уложенную в печь между поленьями бересту.

— И что бы я без тебя, Дмитрий Васильевич, делал? — качнув головой, пробормотал Пиноккио.

— Да замёрз бы по собственной воле, или, вернее, безволию, а я тебе не дал этого сделать! — улыбнулся ветврач.

Дмитрий Васильевич пить не торопился и удерживал от бескультурной пьянки хозяина дома. Сначала он выждал, когда разгорится на полную печь. А когда она затрещала дровами, задышала, профессионально, по-врачебному прислушался к её тяге и определил, что дымоходы давно нечищены. Пиноккио с ним согласился, искоса бросая взгляд на стол, где стояла бутылка. А ветврач не спеша нарезал колбасы, хлеба, потом налил в кастрюлю воды и засыпал гречку.

— Я сейчас тебя научу гречневую кашу варить, — говорил при этом гость хозяину. — Нужно, чтобы вода над крупой была на два-три пальца, посолить, дождаться кипения, а потом передвинуть на медленный огонь, и пуская себе варится. А тушёнку уже под конец туда добавить можно.

— А можно и не добавлять — так тушёнку съесть, холодной, — сказал Пиноккио, подсаживаясь к столу и выдвигая бутылку на середину.

— Можно, — согласился ветврач. — Можно масла туда добавить или сала, но с тушёнкой каша вкусней. Подожди, дорогой, немного. Сейчас закипит, и мы с тобой примем по первой под холодную закуску. Доставай пока рюмки.

Рюмок у Пиноккио не было давно, и он достал Васильичу фарфоровую кружку, а себе подвинул стакан.

Под холодную закуску — колбасу и сало — они выпили дважды. После общей второй, а для него уже третьей, Пиноккио захорошело, и будь он дома один, непременно бы завалился на диван. Но Васильич его дисциплинировал, утверждая, что необходимо поесть горячего, а потом уж можно и на боковую. Кроме того, ветврач задавал ему разные вопросы, расспрашивал о жизни. Пиноккио, соскучившись по общению, старался отвечать не грубо, чтобы не обидеть гостя. А когда Васильич сварил кашу, Пиноккио, выпив ещё и по настоянию ветврача съев всю поданную ему в чашке гречку, рассказал гостю о своих странностях, преследовавших его всю жизнь снах. Начав несмело, сбиваясь, в процессе рассказа он разошёлся, заговорил эмоционально, с подробностями, забыв, казалось, и о том, что он пил несколько дней подряд, и что на столе и сейчас есть что выпить.

— Ты, Дмитрий Васильевич, второй после Венерки человек, которому я это говорю. Даже матери

не рассказывал—боялся, подумает, что я с ума сошёл. А тебе ещё и как врачу решил рассказать. В последнее время каждый раз, как только чуть вздремну, снится... Да так ясно всё вижу, что и сам верить начинаю, что он—это я.

— Я верю тебе, Володя,—сказал Дмитрий Васильевич.—Верю. Не подумай, что из солидарности или спьяну говорю. Я слышал о таком случае, когда студентом был. Правда, тот человек тоже сильно пил, и врачи списали все его рассказы на белую горячку. Права твоя Венера Романовна: обратись ты к врачам—и тебе горячку припишут, алкогольный психоз, и точно упекут.

— А что это, Васильич, такое? Может, точно какая болезнь? Типа шизофрении? Только во сне происходящая...

— Есть, говорят, теория, по которой, помимо нашего мира, существует параллельный,—ветврач налил ещё, оставив в бутылке немного.—Даже несколько параллельных миров. К примеру, вот в этом, для нас реальном, мы с тобой сидим и спирт Колесухин пьём, а в другом—мы с тобой сегодня не встретились: ты чуть раньше из дому вышел, я задержался, и мы не пересеклись на улице; в третьем—мы встретились, но я не пошёл к тебе, составивши на неотложные дела...

— Так получается, что таких миров много!—удивился и оживился Пиноккио.

— До бесконечности много!—тоже оживился Васильич.—Я не психолог и даже не нарколог—ветеринар, поэтому мало что знаю. Насколько верна эта и ей подобные теории, я думаю, вообще никто не знает. Так предполагают. Большинство людей об этом даже не думает, им в голову это не приходит, а вот некоторые сны видят или даже видения у них бывают, но их за ненормальных признают. А что такое ненормальность? Может, ненормальных людей никаких нет, а есть способности, которых неизвестны науке?

— Точно, Васильич! Точно! Я теперь понял: певец Дима живёт в параллельном мире. И он—это точно я!

Пиноккио привстал, на его лице сияла улыбка. Наверное, таким сияющим было лицо у Архимеда, а потом у Ньютона и других великих людей, осознавших, что они только что совершили открытие.

— Ну, за это надо выпить!—улыбнулся ветврач.—Давай по последней, да я пойду. Там тебе ещё немного остаётся в бутылке. Ты давай кашу ешь ещё, за печкой смотри.

— Эх, хорошо!—воскликнул Пиноккио, морщась после выпитого.—Теперь, Дмитрий Васильевич, и жить легче, зная, что я не один, что я во многих лицах и что они все рядом—руку только протяни...

— Рукой-то, Володя, не достать. Мы пока не вхожи в эти миры, они к нам—не знаю... Тут, наверное,

человечеству нужно какого-то нового уровня достигнуть, поменять миропонимание, и тогда, может быть...

— Э!—махнул рукой Пиноккио.—Я уже поменял. Благодаря тебе, Васильич. Я раньше думал что-то подобное, близко мыслью подходил, а ты мне сейчас глаза открыл. Помог сделать открытие.

— Ну ладно, Володя. Спасибо за приглашение, я пойду,—ветврач поднялся, подошёл к Пиноккио, пожал руку.—Ну а ты давай оживай. Тебе надо встряхнуться, бросить много пить, устроиться куда-нибудь на работу. Ты ж ещё вполне работоспособный человек. И Венеру Романовну слушайся. Она ж к тебе всей душой.

— Ладно, ладно, Васильич. Я теперь поменяюсь... Поменяю образ жизни... На меня просветление сошло.

— Ну хорошо,—сказал Дмитрий Васильевич, направляясь к двери.

Пиноккио вместе с гостем вышел на крыльцо, помог ему спуститься по мокрым ступенькам, проводил до ворот.

— Спасибо, Володя!—уже за воротами поблагодарил опьяневший на свежем воздухе ветврач и тихонько поковылял по улице.

А Пиноккио, закрыв ворота, приласкал возле собачьей конуры пса Кирилла, поднялся по ступенькам дома, закрыл на крючок дверь на веранде.

Дома он подбросил в печку ещё пару поленьев, посмотрел на недопитую бутылку, закрыл её пробкой и поставил между столом и холодильником. Недоеденные колбасу и сало убирать не стал. Затем он прошёл в комнату и, уже присев на диван, почувствовал тяжесть во всём теле.

— Я снова пьяный,—сказал он громко и повалился на бок.

Зал рукоплескал. Люди вставали с мест, поднимали руки, размахисто били в ладоши и кричали: «Браво! Браво! „Счастье“ на бис!» Довольный певец стоял на сцене в окружении большого хора. Ему несли и несли цветы. Мужчины, женщины, дети. Одна шикарная дама в дорогом колье, целуя его, шепнула: «„Счастье“ на бис, для меня...» Он, благодарно улыбнувшись, глянул на дирижёра. Дирижёр кивнул, он махнул ему в ответ.

И ударила оглушительно, заиграла музыка. И понеслась, полетела над залом, над зрителями, под высокий потолок, покачивая огромные люстры, песня. И вздохнул, ожил единым порывом хор и подхватил:

Всё на свете было не зря!  
Не напрасно было!

А певец, казалось, сросся со сценой и хором, стал их продолжением, а сцена и хор стали продолжением его, и даже более—весь зал, зрители сливались вместе с песней в один большой организм.



Пылали закаты,  
И ветер дул в лицо.  
Всё было когда-то,  
Было, да прошло!

И уже нельзя было понять — со сцены ли, из зала ли являлась всем песня, но ясно было каждому, что вдохновляет всех — музыкантов, хор, зрителей, — стоящий в центре сцены кудрявый, сияющий, ещё не старый человек во фраке, снова и снова заводивший:

Пылали закаты,  
И ветер дул в лицо.  
Всё было когда-то,  
Было...

Вдруг песня оборвалась. В одно мгновение всё стихло. Песня остановилась на только что законченном слове, затих оркестр, смолк хор, замер зал. Певец качнулся и, прижав руку к груди, упал. Зал отозвался коротким возгласом, дирижёр и несколько хористов бросились к солисту. «Что с вами? Что с вами, Дмитрий Валентинович?» — спрашивал присевший над певцом дирижёр. Солист открыл глаза, слабо улыбнулся. «Всё в порядке», — хотел сказать он, но произнёс только: «Всё...» — ибо внутренний толчок не дал договорить ему. Дёрнувшись ещё раз, солист закрыл глаза и затих.

Пиноккио улыбался во сне, когда внутренний толчок опрокинул его с правого бока на спину. Он ещё раз дёрнулся и затих.

Ещё через какое-то мгновенье он, отделившись от своего тела, поднялся и полетел. Пролетая сквозь дверь дома и сени, он вылетел во двор и стал подниматься в серое дождливое небо над домом, над сараем. Из конуры выскочил пёс Кирилл и, глядя на улетающего хозяина, залаял. А тот, поднимаясь ещё выше, уже легел над улицей, повернул к дому ветврача и увидел довольного Дмитрия Васильевича, стоящего на крыльце.

«Э-эй, Васильич!» — крикнул ему пролетающий Пиноккио, но Васильич был занят своими мыслями и не услышал его. «Да если бы даже и услышал, то всё равно не увидел бы», — догадался Пиноккио и полетел дальше — над домом Колесухи, к дому Венеры, к школе, автомастерской. Он летел и радостно махал всем рукой, кричал им сверху и, поднимаясь ещё выше над посёлком, вдруг на секунду взгрустнул, осознав, что больше не вернётся сюда и не увидит ни Венеры, ни Васильича, ни кого другого...

Недолгая грусть его сменилась новым ликованием, когда серая пелена осталась внизу, а в глаза брызнуло синевой неба. Он вдруг увидел себя со стороны: мальчиком, юношей, молодым человеком. Увидел восьмилетнего мальчика Робертино, шагавшего по неширокой городской улице, вывески магазинов, деревья, арку и двор с детской площадкой, песочницу, цветочную клумбу, два легковых автомобиля у подъезда. Всё это пронеслось перед ним и исчезло, а он полетел дальше. Он летел, молодой и сияющий, и не сразу заметил, как к нему присоединился ещё один он — солист Дима, точно такой же молодой и довольный, а после ещё один человек, похожий на них, и ещё один, и ещё...

Через четыре дня Венера, подходя к дому Пиноккио, услышала вой пса Кирилла. Пёс, встречая её, выскочил из дома через разбитое на веранде стекло и заскулил. Уже по привычке, с помощью ножичка-складничка, Венера откинула крючок изнутри закрытой двери и вошла сначала на веранду, затем в дом. На полу возле печки она увидела пустую кастрюлю, а возле стола кружку и стакан. Поняв, что здесь похозяйничал Кирилл, она с тревогой прошла в комнату.

Околевший Пиноккио лежал на спине, слегка выгнувшись, как будто силился встать. Остекленные глаза его не казались страшными, а придавали ещё большую умиротворённость его застывшей улыбке.